



TRIDENT

18+

Сергей Ходорев

Трещина

«Автор»

2026

Ходорев С.

Трещина / С. Ходорев — «Автор», 2026

«Трещина» — хроника падения Вики: от детской веры в добро до полного отчуждения. Каждый шаг — следствие предыдущего, а «помощь» окружающих лишь углубляет пропасть. Через лейтмотивы (трещины, зеркала, записки на холодильнике) автор показывает, как рушится внутренний мир — не от одного удара, а от будничного равнодушия. Это не история о «сильной героине», а свидетельство о хрупкости судьбы и цене молчания. Для читателей старше 18 лет.

© Ходорев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Тёмные стёкла	6
Глава 1. Девочка с косичками	9
Глава 2. Кислотные заколки	13
Глава 3. Органайзер с ручкой	16
Глава 4. Тусовка	20
Глава 5. Портвейн	24
Глава 6. Зверь	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Сергей Ходорев Трещина

Вера

Пролог. Тёмные стёкла

Два часа ночи. Тёмная «девятка» с тонированными стёклами катит по пустому проспекту. Фонари мелькают за окном, как стробоскопы — жёлтый, тёмнота, жёлтый, тёмнота. Вера сидит на заднем сиденье, закинув ногу на ногу, и смотрит в окно, хотя смотреть там не на что. Город давно уснул. Только редкие машины проносятся мимо, да где-то вдалеке мигает вывеска круглосуточного ларька.

За рулём — Толик. Он всегда молчит. Ему платят за то, чтобы он возил, а не за разговоры. Иногда он включит радио — тихо, едва слышно, чтобы не мешать. Сейчас играет что-то из 70-х годов, какой-то старый хит, и Вера невольно узнаёт мелодию, но не может вспомнить, кто поёт. Или не хочет вспоминать.

Вера знала, что Толик молчит не из вежливости. Он молчит, потому что видел многое — достаточно, чтобы понимать: разговоры не меняют ничего. Однажды, месяцев пять назад, когда она только начала ездить с ним, он вдруг сказал, не оборачиваясь:

— Ты новенькая?

— Новенькая.

— Давно?

На Вере — короткое чёрное платье, туфли на шпильке, которые она давно научилась носить так, будто родилась в них. Косметика наложена профессионально: глаза прорисованы, губы — тёмно-бордовые, кожа — ровная, матовая. Она выглядит старше своих лет. Намного старше. Хотя сколько ей? Двадцать три? Двадцать четыре? Она иногда сама путается. В паспорте — одно, в зеркале — другое, внутри — третье.

— Первый месяц, — ответила тогда Вера, и голос был совсем другой — не ровный, не привычный, а тихий, с надрывом, который она ещё не научилась прятать.

Толик кивнул. Больше не спрашивал. И с тех пор — молчал. Только иногда, когда она выходила из сауны с зелёным лицом и трясущимися руками, он протягивал назад, не оборачиваясь, бутылку воды — тёплую, из-под крана, из канистры, которую возил с собой. Вера брала, пила, и вода была невкусная, пластиковая, но от неё становилось легче — не внутри, а в горле, которое сжималось, будто кто-то держал за шею.

Сегодня он не протянул воду. Сегодня всё как всегда — норма, рутина, механика. Вера знала: если бы она не вышла из сауны, Толик бы не worried. Подождал бы десять минут, позвонил диспетчеру, поехал за следующей. Так работала система — без эмоций, без привязанностей, без лишних вопросов. Машина, девочка, клиент, деньги. Как конвейер.

Телефон в сумочке вибрирует. Она не смотрит. Знает, кто. Диспетчер. Или клиент, который уточняет, скоро ли. Или мама, которая опять не может уснуть и пишет: «Веруль, ты когда приедешь?» Она ответит маме потом. Позже. Или завтра. Или не ответит вообще, потому что мама не знает, где она. Никто не знает, где она ночью. Все думают, что она работает в ночную смену на заводе. Хорошая легенда. Надёжная. Мама верит. Бабушка верила бы тоже, но бабушки уже два года нет.

Диспетчера звали Алла Ивановна. Вера никогда не видела её лицом, только слышала по телефону — голос прокуренный, низкий, деловой, как у диспетчера такси. «Адрес — сауна Лотос, два часа, клиент — Виктор Палыч, оплата — наличные, тебе — тридцать процентов». Тридцать процентов от двух тысяч — шестьсот. За два часа. За два часа того, от чего потом хочется мыться под кипятком, пока кожа не сойдёт.

Шестьсот рублей. Бабушка работала на почте за восемьсот в месяц. Вера зарабатывала бабушкину зарплату за вечер. Только бабушка шла на почту с прямой спиной, а Вера — в сауну с тонированными стёклами.

— Подъезжаем, — говорит Толик, не оборачиваясь. — Сауна «Лотос». Знаешь?

— Знаю, — отвечает Вера. Голос ровный, привычный. Как у диспетчера, который говорит «ваш заказ принят». Как у кассира, который говорит «сдачу получите на кассе». Никакой интонации. Никакого чувства.

Машина сворачивает во двор, тормозит у приземистого здания с неоновой вывеской. Буква «Л» в слове «Лотос» не горит, и получается «отос», что почему-то каждый раз смешит Веру, хотя смеяться ей не хочется.

Она выходит из машины. Ночной воздух бьёт в лицо — холодный, резкий, с привкусом бензина и мокрого асфальта. Октябрь. Вера поправляет платье, закидывает сумочку на плечо, проверяет, всё ли на месте: телефон, презервативы, влажные салфетки, духи, баллончик с перцовым баллончиком «на всякий». Всё на месте. Всё, как всегда.

Пепельница в коридоре — переполненная, окурки торчат, как ёжик. Кто-то написал маркером на стене рядом с вешалкой: «Не забудь улыбнуться». Вера каждый раз читала эту надпись и каждый раз думала: а что, если не улыбнуться? Что будет? Клиент обидится? Уйдёт? Пожалуется? Нет. Клиенту всё равно. Ему нужна не улыбка — ему нужно тело. А улыбка — это так, упаковка. Как плёнка на коробке конфет: сними и выбрось.

Дверь сауны открывается, и оттуда пахнет хвоей, пивом и чем-то жареным. На пороге — администратор, толстый мужчина в спортивном костюме, с сигаретой за ухом:

— Ты от Виктора?

— От Виктора, — кивает Вера.

— Два часа. Комната три. Клиент уже там.

— Понятно.

Она идёт по коридору. Линолеум на полу — протёртый, с прилипшей жвачкой у порога. Стены обиты панелями под дерево, кое-где отошли, и за ними чернеет бетон. Вера стучит, заходит. Клиент — мужчина лет сорока, в полотенце, с красным лицом и мутными глазами. Улыбается, и от этой улыбки Вера чувствует привычную пустоту внутри — не боль, не страх, не отвращение. Просто пустоту. Как будто внутри выключили свет, и она идёт на автопилоте, как робот, как механизм, который выполняет программу.

Дверь закрывается.

Позже, когда всё заканчивается, когда Толик снова везёт её домой, когда город начинает синеть перед рассветом, Вера сидит на заднем сиденье и смотрит в потолок машины. На обшивке — пятна от сигарет, трещина на плафоне. Радио снова играет что-то старое, и на этот раз она узнаёт: «Руки Вверх». «Крошка моя, я по тебе скучаю...»

И вдруг — как удар — вспышка: школьный спортзал, гирлянда из фольги, кассетный магнитофон «Вега», Ленка шепчет: «Вер, ты видела? Он на тебя смотрел!» — и сердце стучит так, будто сейчас выскочит, и мир огромный, и впереди — всё, всё, всё...

Вера закрывает глаза. Откидывает голову на холодное стекло.

Как я здесь оказалась? — думает она. — Как? Когда? В какой момент?

Она знает ответ. Знает точно. Всё началось не сегодня, не вчера, не год назад. Всё началось в один вечер, в одной тёмной комнате, с одним человеком, который отнял у неё нечто такое, что она уже никогда не смогла вернуть. Не невинность — это слово слишком красивое для того, что произошло. Он отнял доверие. Он отнял веру в то, что мир добрый. Он отнял Веру — ту Веру, с косичками, которая стояла перед зеркалом и думала, что впереди — цветы, нежность и долгие разговоры.

А осталась — эта. В чёрном платье, на заднем сиденье «девятки», с тонированными стёклами, в два часа ночи.

Бабушка была права, — думает Вера. — Главное, чтобы внутри была красивая.

Бабушка была права, — думает Вера. — Главное, чтобы внутри была красивая.

Она усмехается. Криво, безрадостно.

Внутри. А что — внутри? Если бы можно было распороть грудь, как молнию на куртке, и заглянуть — что бы увидели? Темноту. Пыль. Осколки — мелкие, острые, как битое стекло. И — где-то глубоко, на самом дне, под слоями пустоты и пепла — маленький, тусклый, едва тлеющий огонёк. Не тепло — нет. Так — тление. Но — живое. Ещё — живое.

Бабушка говорила: «Главное — чтобы внутри была красивая». Бабушка — верила. Вера — нет. Вера — знала: внутри — грязно. Внутри — ломаное. Внутри — то, что не починить, не склеить, не отмыть. Но — тлеет. Что-то — тлеет. И пока тлеет — жива.

— Приехали, — говорит Толик, тормозя у её дома.

— Спасибо.

Она выходит, и холодный воздух — октябрьский, сырой, с привкусом ржавчины и опавших листьев — бьёт в лицо. Вера стоит у подъезда, смотрит на окна — тёмные, спящие. Мамино окно — на втором этаже — тёмное. Бабушкино — на третьем — тоже. Бабушки уже два года нет, но окно — всё ещё бабушкино. Вера так и думает — «бабушкино окно», будто бабушка просто ушла в магазин и вот-вот вернётся с апельсинами.

Апельсинов не будет. Бабушки не будет. Той Веры — не будет. Осталась — эта. В чёрном платье, на холодном крыльце, в три часа ночи, с сумочкой, в которой презервативы и перцовый баллончик.

Зато — живая, — думает она, и в этом «зато» — вся горечь, вся ирония, вся — усталость.

Она усмехается. Криво, безрадостно.

— Приехали, — говорит Толик, тормозя у её дома.

— Спасибо.

Она выходит, поднимается по лестнице, заходит в квартиру. Тихо. Мама спит. На холодильнике — записка: «Веруль, суп в кастрюле, не забудь поесть, я тебя люблю».

Вера стоит на кухне, смотрит на записку, и внутри — там, где давно уже пустота — что-то шевелится. Маленькое, тёплое, далёкое. Будто искра в остывшем костре.

Она роняет сумочку на пол, садится на табуретку, кладёт голову на руки и закрывает глаза.

И всё возвращается: бабушка, каша, фотоальбом, лагерь, открытки, органайзер с ручкой, синее платье с цветочным узором, подъезд, который пахнет сыростью, звонок, дверь, музыка, его улыбка, его голос, тёмная комната, боль, забвение...

Как всё началось?

А началось всё хорошо.

Глава 1. Девочка с косичками

Вера жила неплохую жизнь. Если бы кто-то попросил её описать своё детство одним словом, она бы, наверное, сказала: «тёплое». Не потому что всё было идеально — идеального не бывает, — а потому что рядом всегда были люди, которые её любили.

Бабушка Зинаида Петровна работала на почте. Каждое утро она вставала в шесть, варила кашу, накрывала на стол и будила Веру песенкой, которую сама придумала:

Зинаида Петровна была женщиной старой закалки — из тех, кто встаёт в шесть даже в воскресенье, потому что «сон днём — это лень», кто варит кашу не из пакетиков, а из настоящей крупы, которая варится полчаса и требует помешивания, кто глажет постельное бельё, хотя никто этого не видит, потому что «аккуратность — это уважение к себе». Она носила очки в роговой оправе, которые сползали на кончик носа, и привычно поправляла их указательным пальцем — так часто, что это движение стало таким же автоматическим, как дыхание.

Вера любила наблюдать за бабушкой по утрам. Бабушка двигалась по кухне — медленно, но точно, как часовой механизм: кран, кастрюля, крупа, соль, масло. Каждое движение — выверенное, без лишних жестов. Она не размахивала руками, не суетилась, не бросала ничего. Просто — делала. И каша получалась всегда одинаковой — не жидкой, не густой, а такой, чтобы ложка стояла, но не вертикально, а чуть наклонно. Идеальная каша.

— Вставай, вставай, пора гулять, солнце в окна заглядь-глядь!

Вера хмурилась, прятала голову под подушку и хихикала. Бабушка делала вид, что обижается, потом не выдерживала и сама смеялась:

— Ну и соня, вся в маму.

Мама, Наталья Сергеевна, работала на фабрике — сменами, рано уходила, поздно приходила, но всегда, всегда находила минутку. То записку на холодильнике оставит: «Веруль, суп в кастрюле, не забудь поесть, я тебя люблю», то позвонит в перерыве:

Записки на холодильнике были маминым языком любви. Она не умела говорить «я тебя люблю» вслух — краснела, запинаясь, махала рукой: «Ну что ты, ну хватит». Но писала — каждый день, ровным круглым почерком, как в школьной тетради: «Веруль, суп в кастрюле, не забудь поесть, я тебя люблю». Иногда добавляла «пирог на столе» или «молоко не забудь закрыть». Бабушка говорила: «Твоя мама — как почтальон, только письма не отправляет, а на холодильник клеит».

Вера grew up среди этих записок. Они были фоном — как обои, как тикающие часы, как бабушкин запах — лаванда и мята. Она не замечала их, как не замечают воздух, пока не задохнёшься.

— Ну как ты там? Уроки сделала?

— Мам, ну конечно!

— А по русскому?

— Мам!

— Ладно-ладно. Я вечером приду, пирогов принесу.

Отец ушёл, когда Вере было семь. Не ушёл — скорее растворился. Однажды он просто не вернулся с работы, потом позвонил, сказал, что нашёл другую женщину, и будто его никогда и не было. Вера помнила его смутно: большие руки, запах одеколона, голос, который читал ей сказки на ночь. Но голос этот с годами становился всё тише и тише, пока не исчез совсем.

Отец уходил долго. Не разом — как обрыв, а постепенно, как нитка, которая истончается. Сначала стал поздно приходить. Потом — не приходить совсем. Потом — не звонить. Потом — звонить, но коротко, сухо, будто разговаривал с коллегой, а не с дочерью: «Ну как ты? Учись хорошо. Я перезвоню». И не перезванивал.

Вера помнила последний раз, когда видела его. Ей было семь. Он пришёл — не домой, а к школе, стоял у забора, курил. Увидел её, помахал. Она побежала к нему — радостно, бездумно, как бегут дети к отцам, — а он присел на корточки, обнял и сказал:

— Верунчик, папа уезжает. На север. Работа. Буду звонить.

— Пап, а когда приедешь?

— Скоро, — он улыбнулся, но глаза были виноватые, бегающие, и Вера, хоть и маленькая, почувствовала: «скоро» — это навсегда.

Он протянул ей шоколадку — «Сникерс», в синей обёртке, её любимую. Она взяла, не разворачивая. Стояла и смотрела, как он идёт по улице — спина широкая, плечи опущенные, — пока он не свернул за угол. И угол поглотил его, как вода.

Шоколадку она съела не сразу. Дома положила на полку — и та стояла три дня, пока бабушка не выбросила, потому что «шоколад не хранят вечно».

Бабушка, заметив, что Вера перестала спрашивать про папу, однажды сказала:

— Ты, внученька, не держи на него зла. Люди бывают слабые. Но ты-то у нас сильная.

Вера кивнула. Не потому что поняла, а потому что бабушке так было спокойнее.

Выходные были особенным днём. Бабушка доставала свой потрёпанный фотоальбом, и они вместе рассматривали чёрно-белые снимки:

Выходные были особенным днём. Бабушка доставала свой потрёпанный фотоальбом — обтянутый кожей, с золотым тиснением на обложке, которое давно облупилось, и остались только буквы «ФОТ...», — и они вместе рассматривали чёрно-белые снимки:

— А это я молодая, смотри, какая стройная была. Это на заводе, а вот это — твой дед, царствие ему небесное. Красивый, да?

— Бабуль, а почему у тебя тут платье такое длинное?

— Потому что в наше время короткие не носили. Скромнее были.

— А сейчас — не скромные?

— Сейчас — другие. Не лучше, не хуже. Другие.

Вера слушала, разглядывала фотографии, и ей казалось, что раньше всё было проще и понятнее. Что люди на снимках — не улыбались, как сейчас, а смотрели — серьёзно, прямо, будто знали что-то, чего не знали современные. Может — знали. Может — наивные. Может — просто — другие.

Однажды Вера нашла в фотоальбоме фотографию, которую раньше не видела. Бабушка и дедушка — молодые, на берегу реки. Бабушка — в платье, дед — в гимнастёрке, и оба смотрят друг на друга, и в этом взгляде — столько, что у Веры защемило в груди. Не нежность, не страсть — что-то другое, чему не учат в школе, о чём не пишут в журналах. Может — верность. Может — терпение. Может — просто — «ты — моя, и я — твой, и всё остальное — неважно».

— Бабуль, а ты деда любила?

Бабушка посмотрела на фотографию — поверх очков, поверх лет — и сказала тихо:

— Любила. И люблю. Любовь, внученька, не умирает. Она — как река. Видно — или нет, но течёт.

Вера не поняла. Тогда — не поняла. Потом — вспомнила. Когда не было ни деда, ни бабушки, ни реки — только пустота и тонкая полоска света из-под двери — вспомнила: «Она — как река. Течёт».

— А это я молодая, смотри, какая стройная была. Это на заводе, а вот это — твой дед, царствие ему небесное. Красивый, да?

— Бабуль, а почему у тебя тут платье такое длинное?

— Потому что в наше время короткие не носили. Скромнее были.

Вера слушала, разглядывала фотографии, и ей казалось, что раньше всё было проще и понятнее.

Телефон в сумочке вибрирует. Она не смотрит. Знает, кто. Диспетчер. Или клиент, который уточняет, скоро ли. Или мама, которая опять не может уснуть и пишет: «Веруль, ты когда приедешь?» Она ответит маме потом. Позже. Или завтра. Или не ответит вообще, потому что мама не знает, где она. Никто не знает, где она ночью. Все думают, что она работает в ночную смену на заводе. Хорошая легенда. Надёжная. Мама верит. Бабушка верила бы тоже, но бабушки уже два года нет.

Два года. Два года без бабушки. Без её песенки, без каши, без фотоальбома, без «мало ли», без апельсинов. Два года — Вера живёт в квартире, где пахнет лавандой и мятой, но нет того, кто наполнял этот запах. Бабушкина комната — пустая. Вера не заходит. Не может. Дверь — закрыта, и за ней — не тьма, нет. За ней — свет. Тот, прошлый, тёплый, с обоями и часами и фотографиями. И Вера не открывает дверь, потому что если откроет — свет погаснет. Так — лучше. Так — свет — есть. За дверью. Навсегда. Не тронутый.

Мама — одна. Мама работает — сменами, рано уходит, поздно приходит. Мама — похудела, постарела, опустила. Готовит — на двоих, ест — одна. Записки на холодильнике — всё ещё клеит. «Веруль, суп в кастрюле, не забудь поесть, я тебя люблю». Каждая записка — как письмо, отправленное в тишину. Которое — может — не дойдёт. Но мама — клеит. Каждый день. Потому что — пока клеит — есть надежда, что прочитают. Что — придут. Что — поедят. Что — вернуться.

На каникулах — лагерь. Каждый год, без исключения. Бабушка паковала чемодан так, словно Вера уезжала на Северный полюс: свитер на всякий случай, две пары тёплых носков «потому что ночи холодные», аптечка, в которой было всё — от пластыря до активированного угля.

— Бабуль, ну это же лагерь, а не экспедиция!

— Мало ли что, — отвечала бабушка, утрамбовывая чемодан с решительностью генерала перед боем.

В лагере Вера любила всё: запах сосен, утреннюю росу на траве, вечерние костры, когда кто-то рассказывал страшные истории, и все сидели, вцепившись друг в друга, а потом с хохотом разбегались по палатам. Она писала бабушке письма на открытках, которые та дала ей «на всякий случай»:

В лагере у Веры была традиция — каждый вечер, перед сном, она писала. Не в дневник — дневников не было. Писала на обрывках бумаги, на страницах, на полях тетради. Писала — что видит, что слышит, что чувствует. Будто пыталась удержать — поймать момент, как бабочка, и прикрепить к странице, чтобы не улетел. «Сегодня солнце садилось красным. За соснами. Кости грызли — нашли где-то. Вожатый Анатолий пел под гитару «Песню о друге» — фальшиво, но все подпевали. Муравьи залезли в палатку. Жуть».

Она не знала, что это — писательство. Не знала, что это — тот же импульс, который двигает писателями, поэтами, мемуаристами: не дать уйти. Сохранить. Остановить время — хотя бы на странице. Вера просто — писала. Для себя. Без цели, без плана, без мысли, что когда-нибудь — кто-то прочитает.

Может быть, если бы она сохранила эти записи — тетради, обрывки, поля — всё было бы иначе. Может быть, она написала бы книгу — не ту, которую не написала, а другую — о лагере, о соснах, о бабушкиных открытках. О том, как мир был тёплым. Но тетради потерялись — в переездах, в скитаниях, в ночах, когда не было ни тетради, ни ручки, ни страницы, на которой можно остановить время.

«Дорогая бабуля! У меня всё хорошо. Вчера были соревнования, наша команда заняла второе место. Жарко, мухи много. Целую, твоя Вера».

Бабушка хранила все эти открытки в том же фотоальбоме, между фотографиями.

Вера росла хорошим ребёнком: спокойным, покладистым, не склонным к дракам и скандалам. Училась неплохо — не отличница, но и не двоечница. Любила литературу, рисование,

иногда — математику, если настроение было хорошее. У неё были подружки, была компания, были секреты, были мечты. Обычные мечты пятнадцатилетней девочки.

Был ещё один человек в детстве Веры, о котором она редко вспоминала — тётя Оля, мамина сестра, которая жила в другом городе и приезжала раз в год, летом, с чемоданом подарков и запахом чужих духов. Тётя Оля была шумная, весёлая, бездетная — и поэтому особенно щедрая: дарила Вере платья, заколки, духи «Красная Москва» в маленьком флаконе. Бабушка ворчала: «Оль, ты её балуешь», — но сама улыбалась, потому что тётя Оля привносила в квартиру ветер — свежий, тёплый, с привкусом другого города, другой жизни.

— Верочка, — тётя Оля садилась на корточки, брала за подбородок, заглядывала в глаза. — Ты растёшь какая! Красавица! Вся в маму.

— В маму? — Вера хихикала. — А бабушка говорит — в деда.

— Бабушка говорит — в деда, а я говорю — в маму. Бабушка — про характер, а я — про лицо. Ты вот губы мамины, и глаза мамины, и вот эту ямочку на щеке — тоже мамины.

Вера трогала щёку — ямочку, которую никогда не замечала, — и чувствовала: что-то тёплое, что-то настоящее, что-то, что связывает её не с пустотой, а с людьми. С мамой. С бабушкой. С тётей Олей. С дедом, которого не помнила. С миром, который — пока — был добрым.

И всё было хорошо. До одного дня.

Глава 2. Кислотные заколки

К своим пятнадцати годам Вера очень повзрослела. Она была не по годам развитая, будто тело спешило вперёд, а душа не успевала. У неё рано появилась хорошая грудь, и она не знала, что с ней делать: то ли прятать, то ли, наоборот, носить то, что подчёркивает. Мама замечала и тихо ворчала:

Тело менялось, и Вера не успевала за ним. Грудь — рано, бёдра — рано, рост — рывками, будто кто-то дёргал за ниточки, и кукла росла неравномерно: то ноги вытянулись, то руки, то лицо вытянулось, и нос — вдруг стал другим, и губы — полнее, и она смотрела в зеркало и не узнавала себя. Каждый месяц — новое лицо. Как будто кто-то перерисовывал её, не спрашивая.

Подружки тоже менялись, но по-другому — медленнее, плавнее, как будто у них было время. У Веры времени не было. Тело спешило, и от этого спешила жизнь — или ей казалось. Подружки ещё играли в резиночку, а Вера уже замечала взгляды мальчишек — не детские, не шальные, а другие, оценивающие, будто мерили. Она не понимала этих взглядов. Не знала, что с ними делать. Пряталась за книгами, за рюкзаком, за широкой спиной Ленки, которая была выше всех в классе и ещё не переросла.

— Веруля, эта блузка слишком... открытая. Может, другую наденешь?

— Mam, ну все так ходят! Ты что, из пещеры?

— Я не из пещеры. Я просто мама.

— Вот именно, что мама, — фыркала Вера и уходила в комнату, хлопая дверью.

Бабушка в таких случаях садилась на табуретку у окна, качала головой и говорила:

— Наташа, не дави на неё. Она растёт, ей надо.

— Mam, я не давлю. Я просто переживаю.

— Вот и не переживай. Мы её вырастили хорошую, она и дальше хорошей будет.

Бабушка говорила это — уверенно, как говорят то, во что верят безусловно. Она верила в Веру — как верят в солнце: не потому что доказано, а потому что без веры — темно. Бабушкина вера была не слепая — нет, она видела, что Вера меняется, что краски ярче, что блузки открытее, что язык острее. Но верила: внутри — то, что она вырастила. Тёплое. Хорошее. То, что не сломается.

Бабушка ошиблась. Не сразу, не в один день — постепенно, медленно, как дерево гнётся под ветром. Не ломается — гнётся. А потом — ломается. И никто не замечает, когда именно — гнусь стала треском. Бабушка не заметила. Не потому что не смотрела — потому что не верила, что может сломаться. Верила — до последнего. До той ночи, когда Вера прибежала домой, и ревела в подушку, и бабушка стояла за дверью и говорила: «Не пугай себя, Наташа». А пугать — было уже поздно.

Девяностые были временем ярких красок. Вера, как и все её сверстницы, обожала всё кислотное, блестящее, броское. Зелёные тени с перламутром, розовая помада, тушь, которая якобы не размазывалась, но, конечно, размазывалась. Заколки со стразами, резинки с металлическими шариками, обручи, обтянутые бархатом. Она покупала всё это на карманные деньги, которые давала бабушка — «на мороженое», конечно, но Вера мороженое любила меньше, чем косметику.

— Бабуль, ну посмотри, ну как тебе?

Бабушка поднимала очки, прищуривалась:

— Ну... крашенная. Как кукла.

— Бабуль! Это же мода!

— Мода-шмода. Главное, чтобы внутри была красивая.

Вера закатывала глаза, но в глубине души знала, что бабушка права. Просто сейчас, в пятнадцать, внешнее казалось важнее внутреннего. Гораздо важнее.

В школе Вера была незамётной — из тех, кто сидит на средних партах, отвечает, когда спросят, и не поднимает руку первым. Учителя не жаловались и не хвалили — проходила мимо, как тень. Но была одна учительница — Маргарита Фёдоровна, литература, — которая заметила её. Не потому что Вера блистала на уроках, а потому что однажды, на сочинении про «Капитанскую дочку», Вера написала не про Пугачёва и не про Гринёва, а про Машу — про то, как Маша остаётся одна, когда все уходят, и как она находит в себе силы идти дальше, не потому что сильная, а потому что — некому за неё идти.

Маргарита Фёдоровна прочитала, долго молчала, потом сняла очки и сказала:

— Верочка, ты понимаешь больше, чем полагается в твоём возрасте. Это — и подарок, и беда.

Вера не поняла, что она имела в виду. Поняла потом. Гораздо позже.

Дискотеки были отдельной стихией. По субботам школьный спортзал превращался в танцевальный зал: гирлянда из фольги на стене, магнитофон «Вега», кассеты, которые кто-то из старшеклассников приносил из дома. Танцевали под «Руки Вверх», «Иванушек International», «Кар-Мэн». Вера приходила с подружками, и они сначала стояли у стенки, жались, хихикали, а потом, когда начиналась знакомая песня, выбегали в центр и плясали так, будто завтра не будет ни уроков, ни контрольных, ничего.

— Вер, ты видела? Он на тебя смотрел!

Дискотеки были отдельной стихией. По субботам школьный спортзал превращался в танцевальный зал: гирлянда из фольги на стене, магнитофон «Вега», кассеты, которые кто-то из старшеклассников приносил из дома. Танцевали под «Руки Вверх», «Иванушек International», «Кар-Мэн». Вера приходила с подружками, и они сначала стояли у стенки, жались, хихикали, а потом, когда начиналась знакомая песня, выбегали в центр и плясали так, будто завтра не будет ни уроков, ни контрольных, ничего.

Ленка танцевала — как сумасшедшая, без стеснения, и тянула Веру за руку: «Вер, иди сюда! Чего стоишь!» Вера — шла, сначала неуверенно, потом — втягивалась, и музыка забирала, и тело двигалось, и мир становился — простым, ясным, как песня, которую знаешь наизусть: три аккорда, три слова, и всё — понятно. Ничего — не надо. Только — двигаться, и слушать, и петь — громко, не стесняясь, потому что все — поют. Все — вместе. И в этом «вместе» — было — всё.

После дискотеки — домой, по тёмной улице, с подружками, взявшись за руки, и луна — огромная, жёлтая, висит над домами, как фонарь, и воздух — холодный, свежий, и щёки — горят, и ноги — гудят, и сердце — ещё стучит в ритме «Крошка моя, я по тебе скучаю», и Вера — бежит, и смеётся, и думает: «Вот. Вот — жизнь. Вот — она. И она — прекрасна».

— Кто?!

— Ну Максим, из десятого! Смотри, смотри, опять смотрит!

Вера делала вид, что ей всё равно, но сердце уже неслось вскачь.

Ленка была Верина лучшая подруга — единственная, настоящая, не из тех, что приходят и уходят, а из тех, что прилипают с первого класса и остаются. Они познакомились в букварный день — Ленка сидела рядом, уронила пенал, и Вера подняла, и с тех пор они были неразлучны. Ленка была высокая, костлявая, с конопушками и вечной чёлкой, которая лезла в глаза. Она смеялась громче всех, бегала быстрее всех, дралась — если надо, — и защищала Веру от мальчишек, которые дёргали за косички. Вера была тихая, Ленка — громкая. Вместе — баланс.

Они делили всё: секреты, жвачку, тетради, слёзы. У Веры был альбом с фотографиями — Ленка рисовала туда сердечки и писала «подруги навек». У Ленки был дневник — замочек, ключик на верёвочке, и туда она записывала, кто кому нравится. «В. нравится М. из 10-Б», — было написано на странице от четырнадцатого октября. В. — это Вера. М. — это Максим. Ленка знала раньше всех.

Максим. Из параллельного, из десятого «Б». Высокий, русоволосый, с хитрой улыбкой. Вера заметила его ещё в сентябре, когда он зашёл в столовую, купил булочку и, проходя мимо, случайно толкнул её плечом.

— Ой, извини, — сказал он, и улыбнулся.

— Ничего, — ответила Вера, и голос её дрогнул.

С тех пор она стала замечать его везде: в коридоре, на линейке, у расписания. Он был на два года старше, и от этого казался недостижимым, как звезда на ночном небе. Вера не признавалась никому, что думает о нём перед сном, просто лежала и прокручивала в голове сценарии, в которых он вдруг подходит и говорит что-то, от чего мир становится лучше.

С тех пор она стала замечать его везде: в коридоре, на линейке, у расписания. Он был на два года старше, и от этого казался недостижимым, как звезда на ночном небе. Вера не признавалась никому, что думает о нём перед сном, просто лежала и прокручивала в голове сценарии, в которых он вдруг подходит и говорит что-то, от чего мир становится лучше.

Ленка знала. Конечно, знала — она всегда знала первой. Однажды, на перемене, когда они сидели на подоконнике и ели булочки, Ленка наклонилась и сказала — тихо, заговорщицки:

— Вер, ты же по нему сохнешь?

— По кому? — Вера покраснела до ушей.

— По Максусу. Не притворяйся. Я вижу, как ты смотришь, когда он проходит.

— Я не...

— Вер. Я тебя знаю с первого класса. Ты краснеешь, когда его имя слышит. Ты на физику опаздываешь, потому что ждёшь у расписания, когда он пройдёт. Ты...

— Лен! — Вера закрыла лицо руками. — Хватит.

Ленка засмеялась — громко, весело, и обняла её за плечи:

— Ладно, ладно. Молчу. Только — Вер? Будь осторожна. Он — не из нашей оперы.

— Что значит — не из нашей?

— Ну... он старше. Он тусуется с теми, кто... Ну, ты понимаешь. Не с нашей школой. С другими.

— И что?

— И то, что ты — хорошая. А хорошие — страдают. Это — закон.

Вера отмахнулась. Тогда — отмахнулась. Тогда казалось: Ленка преувеличивает, Ленка — паникёрша, Ленка — просто ревнует. Потом — поняла. Потом — было поздно.

Мама с бабушкой не отказывали ей в дискотеках. «Только до десяти», — говорила мама, застёгивая пуговицу на куртке.

— До десяти, мам, обещаю!

— И чтобы звонила, если что.

— Конечно, мам.

Вера выбегала из дома, бежала по тёмной улице, и ей казалось, что впереди — целая жизнь, и она будет прекрасной.

Глава 3. Органайзер с ручкой

Это случилось в обычный вторник. Ничего особенного: уроки, перемена, запах мела и школьных коридоров, кто-то кричал на лестнице, кто-то ел булочку, кто-то списывал домашку.

Вера стояла у расписания, прижимая к груди тетрадь, и думала о том, что на физику она не подготовилась. Мимо прошли мальчишки из девятого, толкаясь и хохоча. Потом из-за угла появился Максим.

Он шёл вразвалку, засунув руки в карманы, будто у него не было ни единой заботы на свете. Увидел Веру, остановился, облокотился на стену рядом с расписанием, будто изучал его, хотя все знали, что Максим никогда не смотрел на расписание.

Максим подошёл ближе. От него пахло чем-то — не сигареты, не парфюм, а что-то другое, мужское, непонятное, от чего у Веры перехватило дыхание. Она стояла, прижимая тетрадь к груди, и чувствовала, как краснеют щёки, уши, шея — вся, до кончиков пальцев.

— Ну так что? — он улыбнулся, и улыбка была хитрой, но не злой. По крайней мере, ей так казалось. — Придёшь?

— Я... наверное.

— Ну «наверное» — это не ответ. Да или нет?

— Да, — сказала Вера, и это «да» прозвучало так, будто она подписывала контракт, не прочитав.

— Привет, — сказал он.

Вера вздрогнула.

— П-привет.

— Слушай, — он повернулся к ней, и от этой близости у неё перехватило дыхание. — У меня в субботу день рождения. Приходи. Будет весело.

Вера моргнула. Потом ещё раз. Потом поняла, что он говорит серьёзно, и внутри всё вспыхнуло, как спичка.

— А... а кто ещё будет? — она старалась, чтобы голос звучал небрежно, но он дрожал, и она это знала.

Вера побежала по коридору, и мир стал другим — свет ярче, звуки чётче, воздух слаще. Она влетела в класс, где Ленка уже сидела за партой, рисуя в тетради сердечки.

— Лен! Ленка!

— Что? Ты чего? — Ленка подняла голову, и чёлка упала на глаза.

— Он меня позвал! На день рождения!

Ленка округлила глаза так, что казалось — выпадут.

— Кто?!

— Максим!

— Максим из десятого? Ты с ума сошла?! Он же... — Ленка наклонилась ближе, зашептала: — Он же со старшими тусуется. Серый, этот, с бритой башкой, и ещё кто-то. Они пьют, курят. Тебе туда нельзя.

— Почему нельзя? Он пригласил. Вежливо.

— Вежливо... — Ленка поджала губы. — Вер, ты его знаешь? Он тебе кто?

— Никто. Просто... нравится.

— Нравится, — Ленка покачала головой. — Из-за «нравится» люди глупости делают. Ладно. Тебе решать. Но если что — звони мне. Сразу.

— Ладно, — кивнула Вера, но про себя уже решила: ничего не случится. Ничего. Просто день рождения. Просто праздник.

Просто.

Максим пожал плечами:

— Да так, пара ребят. Ничего особенного. Но ты приходи. Было бы круто.

— Я... подумаю.

Подарок. Она пошла в магазин на углу — тот самый, где пахло резиной и жвачкой, где продавщица тётя Галя знала всех детей по именам и давала леденцы «за вежливость». Вера долго ходила вдоль полок, трогала коробки, разглядывала упаковки. Набор ручек — слишком скучно. Кассета — у него наверняка есть. Брелок — несерьёзно. И тут увидела: органайзер. Тёмно-синий, с яркой синей окантовкой, с ручкой, которая вставлялась в специальный паз. Строгий, но не скучный. «В самый раз», — подумала Вера, представляя, как Максим улыбнётся и скажет: «Спасибо, Вер, ты лучшая».

— Тётя Галь, сколько стоит?

— Сто двадцать рублей, Верочка.

Сто двадцать. У неё было сто — бабушкины, «на всякий случай» — и тридцать своих, накопленных. Хватит. Она отсчитала монеты, и тётя Галя, увидев, как Вера трясёт кошелёк, вытряхивая последние копейки, сказала:

— Вер, я тебе сдачу не возьму. Ладно?

— Спасибо, тётя Галь!

— На здоровье. Только — Вер? Это подарок кому?

— Другу. На день рождения.

— Другу... — тётя Галя посмотрела на неё — поверх очков, поверх прилавка — и в этом взгляде было что-то, чего Вера не поняла тогда. Может — беспокойство. Может — предчувствие. Может — просто — жалость к девочке, которая копит монеты на органайзер для мальчишки, который не стоит ни одной монеты.

— Другу, — повторила тётя Галя. — Ну, дай бог. Дай бог.

— Не долго, — он усмехнулся и ушёл, не оглянувшись.

Вера стояла у расписания, и мир вокруг изменился. Звуки стали другими, свет — ярче, воздух — легче. Она побежала к подружкам, схватила Ленку за рукав:

— Ленка! Ленка, он меня позвал! На день рождения!

— Кто?!

— Максим!

Ленка округлила глаза:

— Ты серьёзно?! Максим из десятого?!

— Ну да!

— Офигеть. И что ты будешь делать?

— Не знаю. Пойду, наверное.

— Конечно пойдёшь! А что наденешь?

Этот вопрос стал главным на ближайшие три дня. Что надеть? Что подарить? Как накраситься? Что сказать? Как вести себя? Вера прокручивала в голове десятки вариантов, каждый отвергала, придумывала новый, снова отвергала.

В субботу утром она встала в семь — хотя вставать было некуда, вечеринка вечером. Лежала, смотрела в потолок, и сердце уже стучало часто-часто, как будто знало что-то, чего не знала она сама.

Подарок. Она пошла в магазин на углу, долго ходила вдоль полок, трогала коробки, разглядывала упаковки. Набор ручек — слишком скучно. Кассета — у него наверняка есть. Брелок — несерьёзно. И тут увидела: органайзер. Тёмно-синий, с яркой синей окантовкой, с ручкой, которая вставлялась в специальный паз. Строгий, но не скучный. «В самый раз», — подумала Вера, представляя, как Максим улыбнётся и скажет: «Спасибо, Вера, ты лучшая».

Дома она долго сидела перед зеркалом. Накрутила волосы на большие бигуди, которые бабушка использовала ещё в советские времена — розовые, пластиковые, с защёлками, которые больно тянули волосы. Накрасилась: тени — нежно-розовые, не кислотные, сегодня осо-

бенный день. Помада — бледно-розовая, почти незаметная, «как у мамы в юности». Подводка — тонкая, аккуратная. Она выглядывала из зеркала, как картина, и в этой картине всё было на своих местах.

— Веруль, ты долго ещё? — крикнула мама из кухни.

— Мам, пять минут!

— У тебя уже полчаса — пять минут!

— Мам, ну это же важно!

— Ладно. Только не накрайся, как клоун.

— Мам! Я не клоун!

— Я знаю. Я просто говорю — осторожнее. Ты и так красивая.

Вера улыбнулась. Мама — в своих заботах, в своих «осторожнее» и «не накрайся, как клоун» — была постоянной, как Северная звезда. Можно было не соглашаться, можно было закатывать глаза, можно было хлопать дверью — но мама была. Всегда. Как земля под ногами. Даже когда не замечаешь — держит.

Дома она долго сидела перед зеркалом. Накрутила волосы на большие бигуди, которые бабушка использовала ещё в советские времена. Накрасилась: тени — нежно-розовые, не кислотные, сегодня особенный день. Помада — бледно-розовая, почти незаметная, «как у мамы в юности». Подводка — тонкая, аккуратная. Она выглядывала из зеркала, как картина, и в этой картине всё было на своих местах.

Платье. То самое — с мелким цветочным узором, синее с белым, которое бабушка купила ей в прошлом году в кооперативном магазине. Вера берегла его для особого случая, и вот этот случай настал. Она надела его, покрутилась перед зеркалом, поправила подол.

Мама зашла в комнату, остановилась в дверях:

— Ну что, выглядишь как принцесса.

— Мам, ну не надо, — Вера покраснела.

— Ладно-ладно. Только помни: до десяти. И если что — сразу звони.

— Конечно, мам.

— Обещаешь?

— Обещаю, мам.

Бабушка проводила до двери, сунула в карман сто рублей:

— На всякий случай, внученька. Мало ли.

— Бабуль, у меня есть.

— Мало ли, — повторила бабушка и поцеловала её в лоб. Губы — сухие, тёплые, с запахом лаванды и мятных леденцов. Вера запомнила этот поцелуй — не тогда, не в тот момент — потом. Гораздо позже. Когда поцелуи стали редкостью. Когда чужие губы были другими — потными, пахнущими портвейном, никотином, похотью. Тогда — в памяти — бабушкин поцелуй стал талисманом. Единственным тёплым прикосновением, которое никто не отнимет, не испортит, не заменит. Бабушкин поцелуй — в лоб, на пороге, перед выходом в мир, который был — тёплым и добрым, и впереди — всё, всё, всё.

— Бабуль, я до десяти, — сказала Вера.

— Я знаю, внученька. Я знаю.

Вера вышла на улицу. Был тёплый осенний вечер, воздух пах палой листвой и чем-то сладким, незнакомым. Она шла и улыбалась. Мир был добрым, и она не чувствовала опасности. Не чувствовала — потому что не знала, что опасность существует. Что мир может быть недобрым. Что люди могут — брать, не спрашивая. Что «до десяти» — это не обещание, а — может быть — последнее правило, которое имело значение. После десяти — всё изменилось. После десяти — мир стал другим. Но этого Вера ещё не знала. Она шла — и улыбалась. И бабушкин поцелуй — горел на лбу, как отметка. Как печать. Как — «моя».

— Ну иди, — мама обняла её, крепко, по-настоящему. — Будь умницей.

Бабушка проводила до двери, сунула в карман сто рублей:

— На всякий случай, внученька. Мало ли.

— Бабуль, у меня есть.

— Мало ли, — повторила бабушка и поцеловала её в лоб.

Вера вышла на улицу. Был тёплый осенний вечер, воздух пах палой листвой и чем-то сладким, незнакомым. Она шла и улыбалась. Мир был добрым, и она не чувствовала опасности.

Глава 4. Тусовка

Она нашла нужный дом — панельную девятиэтажку на окраине района, серую, как все такие дома, но сегодня кажущуюся ей сказочным замком. Подъезд был тёмный, пахло сыростью и сигаретами. Вера поднялась на третий этаж, остановилась у двери, и вдруг оробела. Стояла, прижимая к себе пакет с подарком, и не могла заставить себя позвонить. Внутри играла музыка — такой плотный, вибрирующий бит, от которого, казалось, дрожали стены.

«А вдруг он не рад будет? — подумала она. — Вдруг это была шутка? Вдруг я пришла, а там все старше, и я буду лишняя?»

Она постояла ещё минуту, набрала воздуха и нажала на кнопку звонка.

Вера сидела на диване, и комната кружилась вокруг — не от шампанского, хотя голова уже слегка гудела, а от запаха, от дыма, от голосов, от того, что все были старше, все были увереннее, и она — единственная, кто не знал, куда деть руки. Она скрестила их на коленях, потом положила на подлокотник, потом убрала обратно. Заметила, что Светка, которая позвала её «садись», уже не помнит про неё — Светка танцевала с каким-то парнем, прижималась, смеялась. Вера была одна в толпе.

Максим подходил и уходил — легко, непринуждённо, как хозяин, который обходит гостей. Иногда — обнимал Веру за плечо, быстро, мимоходом, и от этого прикосновения всё внутри вспыхивало. Иногда — садился рядом, подливал шампанское, шутил:

— Ну что, Вер, скучно?

— Нет, — она качала головой. — Весело.

— Правильно. Грустить — вредно.

И снова уходил — к другим, к своим, к тем, с кем было легче, кто умел пить, не морщась, и смеяться, не стесняясь.

Один раз к Вере подсел парень — незнакомый, с бритой головой, в кожаной куртке. Серый. Тот самый.

— Ты новенькая? — он посмотрел на неё оценивающе, будто сканировал.

— Я... из параллельного. Восьмой «А».

— Восьмой? — он усмехнулся. — Маленькая. А Макс зачем тебя позвал?

Вера не знала, что ответить. Пожала плечами. Серый хмыкнул и ушёл, и Вера осталась одна, с пустым стаканчиком и странным ощущением — будто её изучили, оценили и отложили.

Дверь распахнулась, и на пороге стоял Максим. Джинсы с потёртостями, белая футболка, босиком. Волосы растрёпаны, будто он только проснулся, хотя было семь вечера.

— О, Вера! Заходи, — он отступил, пропуская её. — Мы уже тут всюю.

Она шагнула внутрь. В прихожей было тесно: куртки, сумки, чья-то обувь валялась на полу. Из комнаты доносились голоса, смех, музыка. Вера разулась, поправила волосы и прошла в зал.

Квартира была полна людей. Парни, девчонки — все старше, все будто из другого мира: уверенные, громкие, свободные. Кто-то сидел на диване, кто-то на подоконнике, кто-то прямо на полу. На столе стояли бутылки, стаканчики, тарелки с нарезкой, чипсы, сухарики. В воздухе — запах табака, дешёвого парфюма и чего-то сладкого, будто кто-то пролил газировку.

Вера почти никого не знала. Она увидела одну знакомую — Светку из соседнего класса, но та была уже изрядно весёлой и только махнула рукой:

— О, Вера! Иди сюда, садись!

Вера села на край дивана, прижимая пакет с подарком к коленям. Руки — мокрые, холодные. Сердце — быстро. Она чувствовала: все смотрят. Может, не все. Может, ей казалось. Но — казалось, что все. Все — на неё. На девочку в синем платье, с органайзером в пакете, которая не знает, куда деть руки, и улыбается — натянуто, неуверенно.

Максим подошёл, сел рядом, обнял за плечо — небрежно, по-дружески, как обнимают товарищей, не девушек. Вера почувствовала его руку — тяжёлую, горячую, уверенную — и внутри всё вспыхнуло, как спичка, и она забыла про руки, про пакет, про то, что не знает, куда деть себя. Было — только его плечо. Его запах. Его голос:

— Ну что, подарки? Давай.

Вера протянула пакет. Руки чуть дрожали.

— С днём рождения, Максим. Это тебе.

Он развернул, достал органайзер, глянул мельком, хмыкнул:

— О, органайзер. Класс. Спасибо.

И бросил его на тумбочку рядом с другими подарками — без разбора, без интереса, будто ещё один предмет в куче вещей. Органайзер — тёмно-синий, с яркой окантовкой, с ручкой, которую Вера выбрала полчаса, отсчитывая монеты — лёг рядом с пачкой сигарет, зажигалкой и чьим-то порванным конвертом.

Вера почувствовала укол обиды — маленький, острый, как иголка. Но тут же себя одёрнула: «Не обижайся, это же праздник, он же не обязан был прыгать до потолка». Он поцеловал её в щёчку — быстро, почти небрежно, — и Вера вся налилась краской, засмушалась. И обида — прошла. Забылась. Растворилась в этом поцелуе, в этом «спасибо», в этом «класс».

Потом — потом она будет помнить. Органайзер на тумбочке. Среди окурков и конвертов. Брошенный, не нужный, не оценённый. Как она сама — брошенная, не нужная, не оценённая. Но это — потом. А сейчас — поцелуй в щёку, и шампанское, и «ты ничего», и мир — тёплый, и парень — рядом, и всё — хорошо.

Вера почти никого не знала. Она увидела одну знакомую — Светку из соседнего класса, но та была уже изрядно весёлой и только махнула рукой:

— О, Вера! Иди сюда, садись!

Вера села на край дивана, прижимая пакет с подарком к коленям. Максим подошёл, сел рядом, обнял за плечо — небрежно, по-дружески:

— Ну что, подарки? Давай.

Вера протянула пакет. Руки чуть дрожали.

— С днём рождения, Максим. Это тебе.

Он развернул, достал органайзер, глянул мельком, хмыкнул:

— О, органайзер. Класс. Спасибо.

И бросил его на тумбочку рядом с другими подарками — без разбора, без интереса, будто ещё один предмет в куче вещей.

Вера почувствовала укол обиды, но тут же себя одёрнула: «Не обижайся, это же праздник, он же не обязан был прыгать до потолка». Он поцеловал её в щёчку — быстро, почти небрежно, — и Вера вся налилась краской, засмушалась.

— Ну что, будешь шампанское? — спросил он, уже вставая.

— Я... не знаю. Я не очень умею.

Максим вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками, один протянул Вере:

— За меня. За здоровье.

Вера взяла стаканчик, сделала глоток. Шампанское было сладким, пузырьки защекотали в носу, и она чуть не чихнула.

— Ну как? — спросил Максим.

— Вкусно, — кивнула Вера, и это была правда.

— Давай до дна, — он поднял свой стаканчик. — За именинника.

Она выпила, и ей стало тепло и легко, будто внутри зажгли маленькую лампочку. Музыка заиграла громче, кто-то включил песню, все начали подпевать, и Вера тоже — тихо, стесняясь, но подпевала.

— А ты ничего, — Максим наклонился к ней, и от этого «ничего» Вера растаяла, как масло на сковородке. — Я думал, ты скучная. А ты — ничего.

— Я не скучная, — обиделась Вера.

— Ну вот. Ты не скучная. Я и говорю — ничего.

Он засмеялся, и Вера засмеялась, и мир вокруг — музыка, дым, голоса, чужие лица — стал — на секунду — тёплым. Будто кто-то открыл дверь, и в неё пахнуло летом, лагерем, костром, бабушкиной кашей. Тёплым. Домашним. Безопасным.

Это было — враньё. Это было — приманка. Но Вера не знала. Не могла знать. Ей было пятнадцать, и она верила, что если человек улыбается — он добрый. Что если наливает шампанское — он друг. Что если говорит «ты ничего» — значит, ты — что-то значишь.

Не знала. Не знала, что «ты ничего» — это не комплимент. Это — оценка. Оценка товара перед покупкой.

Родителей у Максима не было дома. Они ушли куда-то в гости по его просьбе — он сам сказал, проходя мимо, — небрежно, как говорят о погоде: «Предки ушли, сегодня — наша туса». И Вера подумала: вот, он — взрослый. Он — может. Может — попросить родителей уйти. Может — собрать друзей. Может — налить шампанское. Может — пригласить девочку. Взрослый. А она — нет. Она — гостья. Пришла — и сидит, сложив руки на коленях, и не знает, куда деть себя, и ждёт — чего? Чего-то. Может — что он сядет рядом. Может — что он улыбнётся. Может — что скажет что-то, от чего — станет легче. Теплее. Понятнее.

Она не знала, что «наша туса» — это не «наша». Что вечеринка — не ради друзей. Что шампанское — не ради праздника. Что всё — ради неё. Или — не ради неё, а — ради того, что он собирался с ней сделать. Она не знала. Не могла знать. Ей было пятнадцать, и она верила, что если человек улыбается — он добрый. Что если наливает — он друг. Что если говорит «приходи» — значит, хочет видеть. Не знала, что «приходи» — это приманка. Что «приходи» — это ловушка. Что «приходи» — это — начало конца.

— Все умеют, — он улыбнулся. — Подожди, сейчас налью.

Он ушёл на кухню, и Вера осталась одна, вернее — среди людей, но одна. Она сидела, сложив руки на коленях, и разглядывала комнату. На стене — ковёр с оленями, как у бабушки. На полке — книги, которые, судя по пыли, никто не трогал. Телевизор включён, но звук убавлен. Кто-то пел в караоке — плохо, фальшиво, но все хлопали.

Максим вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками, один протянул Вере:

— За меня. За здоровье.

Вера взяла стаканчик, сделала глоток. Шампанское было сладким, пузырьки защекотали в носу, и она чуть не чихнула.

— Ну как? — спросил Максим.

— Вкусно, — кивнула Вера, и это была правда.

— Давай до дна, — он поднял свой стаканчик. — За именинника.

Она выпила, и ей стало тепло и легко, будто внутри зажгли маленькую лампочку. Музыка заиграла громче, кто-то включил песню, все начали подпевать, и Вера тоже — тихо, стесняясь, но подпевала.

Родителей у Максима не было дома. Они ушли куда-то в гости по его просьбе — он сам сказал, проходя мимо:

Родителей у Максима не было дома. Они ушли куда-то в гости по его просьбе — он сам сказал, проходя мимо:

— Не парься, предки не придут. Сегодня наша туса.

Вера не знала, что в его голосе за этой небрежностью прячется расчёт. Что «предки не придут» — это не радость, а план. Что «наша туса» — это не «наша», а его. Что вечеринка — не ради друзей, а ради неё. Или — не только ради неё. Она не знала. Она стояла в чужой квартире, среди чужих людей, с шампанским в стаканчике, и чувствовала: я — взрослая. Я —

на вечеринке. У меня есть платье, и косметика, и подарок, и парень — ну, не парень, но почти — который говорит «ты ничего». Я — взрослая.

В пятнадцать лет «взрослая» — это самое опасное слово. Потому что «взрослая» — значит «могу». Могу пить. Могу остаться. Могу не звонить маме. Могу — не до десяти. А «могу» — это «разрешила себе». А потом — «он может». И — всё.

— Не парься, предки не придут. Сегодня наша туса.

Вера не знала, что в его голосе за этой небрежностью прячется расчёт.

Глава 5. Портвейн

Часа через два шампанское закончилось, и кто-то из парней — здоровый, с бритой головой, которого все называли Серый — вытащил бутылку портвейна.

— Ну что, переходим на тяжёлую артиллерию? — он ухмыльнулся и хлопнул бутылкой по столу.

— Давай! — закричали все.

Разлили по стаканам. Портвейн был тёмно-рубиновым, густым, пахнул чем-то тяжёлым и сладковатым, как забродившее варенье. Максим протянул стакан Вере:

— На, попробуй. Это лучше шампанского.

Вера понюхала, поморщилась:

— Я не хочу, правда...

— Да ладно тебе, Вер, — он улыбнулся так, будто это была игра. — Выпей за моё здоровье. Уже второй раз за сегодня, ха-ха.

Она сделала глоток. Терпкий, горький вкус обжёг горло, и она закашлялась.

— Фу, — она поставила стакан. — Это противно.

— Привыкнешь, — он пододвинул стакан ближе. — Давай, ещё чуть-чуть. За именинника — надо.

Вера посмотрела на него. Он улыбался, и в этой улыбке было что-то такое, от чего хотелось ему угодить. Чтобы он снова посмотрел на неё. Чтобы снова сказал «Вер», а не «эта девочка». Она выпила.

Портвейн был тёмно-рубиновым, густым, как кровь. Вера смотрела, как он переливается в стакане, и думала: красиво. Красиво, как гранатовое варенье, которое бабушка варила на Новый год. Она не знала, что красивое может быть опасным. Не знала, что густое и сладкое — это ловушка, в которую заманивают, как муху в сироп.

Максим сел рядом — ближе, чем раньше. Их колени соприкасались. Вера чувствовала тепло его тела сквозь ткань джинсов, и это тепло кружило голову сильнее, чем портвейн.

— Вер, ты чего такая серьёзная? — он наклонился к уху, и дыхание было тёплым, с винным запахом.

— Я не серьёзная. Я просто...

— Просто что?

— Не знаю, — она рассмеялась, и смех был нервным, высоким, не её. — Я не знаю.

— Расслабься. Это же вечеринка. Тут все расслабленные.

— Я не умею расслабляться.

— Научись, — он улыбнулся и поднёс стакан к её губам. — Давай. За нас. Я же сказал — за нас.

Через полчаса Максим снова подошёл со стаканом:

— Давай, ещё один. За нас.

— За нас? — Вера удивилась.

— Ну, за тебя и за меня. Ты ведь пришла, значит — мы уже друзья, да?

— Друзья, — она улыбнулась и выпила.

После второго стакана портвейна ей стало дурно. Голова закружилась, комната поплыла, звуки стали какими-то тягучими, будто кто-то замедлил плёнку. Лица людей расплылись, голоса стали далёкими, будто из-под воды. Вера схватилась за край дивана, пытаясь удержаться.

— Мне... мне что-то нехорошо, — прошептала она.

Светка рядом уже спала, уронив голову на стол. Никто не обратил внимания.

После второго стакана Вера почувствовала, что мир меняется. Не резко — постепенно, как будто кто-то медленно выкручивал фокус на проекторе, и всё стало мягче, теплее, расплывчатее. Звуки стали гуще, цвета — ярче, лица — ближе. Она видела, как Светка танцует — медленно, лениво, будто в воде. Как Серый смеётся — ртом, но не глазами. Как кто-то курит у окна, и дым плывёт по комнате, как туман по реке.

— Макс... мне надо домой, — Вера попыталась встать, но ноги не слушались. Пол качнулся, как палуба, и она схватилась за край дивана.

— Куда тебе домой? — Максим положил руку ей на плечо. Тяжёлую, горячую. — Тебе плохо. Ложись. Отдохни. Потом пойдёшь.

— Но мама сказала до десяти...

— Ну позвони маме. Скажи — у подружки останешься. Все так делают.

— У меня нет подружки тут. Светка... Светка же...

Она обернулась — Светка спала, уронив голову на стол, и от неё шёл запах портвейна и пота. Не подружка — не сейчас, не в этом состоянии.

— Вот видишь, — Максим сказал мягко, убедительно, как взрослый уговаривает ребёнка. — Некому тебя проводить. Лежи. Я проверю. Не волнуйся.

Вера кивнула. Не потому что согласилась. Потому что не было сил спорить. Тело было ватным, голова — гудящей, а воля — растворённой, как сахар в горячем чае. Она встала — нет, её поставили. Подняли за локоть. Повели по коридору, который качался, как мост на ветру.

— Сюда. Ложись. Отдыхай.

Голос был ласковый. Руки — нет.

— Да ты просто перенервничала, — Максим заметил, положил руку ей на плечо. — Пойди приляги. Вон там, в комнате родителей. Тихо будет. Полежишь, пройдёт.

— Может, я домой пойду?.. — Вера попыталась встать, но ноги не держали.

— Куда ты пойдёшь в таком состоянии? Лежи. Я зайду потом, проверю.

Она кивнула — не потому что согласилась, а потому что не было сил спорить. Пошла, шатаясь, держась за стену. Коридор качался, как палуба корабля. Дверь в комнату родителей была приоткрыта. Вера вошла, закрыла за собой.

После второго стакана портвейна ей стало дурно. Голова закружилась, комната поплыла, звуки стали какими-то тягучими, будто кто-то замедлил плёнку. Лица людей расплылись, голоса стали далёкими, будто из-под воды. Вера схватилась за край дивана, пытаясь удержаться.

— Мне... мне что-то нехорошо, — прошептала она.

Светка рядом уже спала, уронив голову на стол. Никто не обратил внимания. Музыка гремела, кто-то смеялся, кто-то курил у окна, кто-то целовался в углу. Вера была — одна. Одна — в полной комнате. Одна — с дуреющей головой и ватными ногами, и никто — никто — не смотрел на неё. Не видел. Не знал.

Максим заметил. Заметил — и подошёл. Не с беспокойством — нет, с чем-то другим, что Вера не разобрала в полутьме. Может — с расчётом. Может — с терпением. Будто ждал этого момента, когда она станет слабой, когда не сможет сопротивляться, когда можно будет — взять.

— Да ты просто перенервничала, — он положил руку ей на плечо. — Пойди приляги. Вон там, в комнате родителей. Тихо будет. Полежишь, пройдёт.

— Может, я домой пойду? — Вера попыталась встать, но ноги не держали.

— Куда ты пойдёшь в таком состоянии? Лежи. Я зайду потом, проверю.

— Макс, мне правда надо домой, мама...

— Вер, не драматизируй. Тебе пятнадцать, а ведёшь себя как первоклассница. Полежи — и всё пройдёт. Я обещаю.

Она кивнула — не потому что согласилась, а потому что не было сил спорить. Тело — ватное. Голова — гудящая. Воля — растворённая, как сахар в горячем чае. Она пошла, шатаясь, держась за стену, и коридор качался, как палуба корабля, и каждый шаг — был шагом в тьму, и она не знала — не могла знать — что этот коридор ведёт в место, из которого нет возврата.

Комната была полутёмной, пахла старыми книгами, деревом и чем-то цветочным — может, мамины духи. Кровать была широкая, застеленная белым покрывалом. Вера легла, не снимая платья, только скинула туфли. Закрыла глаза.

«Только немного полежу, — подумала она. — Потом встану и пойду домой. Мама сказала до десяти...»

Шум из зала постепенно затихал, превращаясь в далёкий, невнятный гул. Веки словно налились свинцом. Она провалилась в полудрёму, где реальность смешивалась с обрывками снов: бабушка варит кашу, мама смеётся, лагерь, костёр, палатки, его улыбка, его голос...

Глава 6. Зверь

В этом полусознательном состоянии она почувствовала, как кто-то гладит её ноги. Движения были настойчивыми, жадными, и от этого прикосновения по коже пробежал ледяной холодок. Вера хотела открыть глаза, но веки были тяжёлыми, будто налитыми бетоном.

«Что это? — подумала она. — Сон? Наверное, сон...»

Потом чьи-то руки потянулись к груди, и прикосновение стало грубым, жадным, без нежности. Вера попыталась отстраниться, сдвинуться, но тело будто не слушалось, будто чужое.

— Макс?.. — прошептала она, и голос был таким слабым, что она сама его едва услышала.

— Тише, тише, — ответил голос. Его голос. — Всё хорошо.

Она чувствовала, как он стягивает с неё платье, задирая ткань, не заботясь о том, что она может чувствовать. Расстёгивает лифчик — резко, одним движением. Снимает трусы — без всякой церемонии, без слов, будто она была не человеком, а вещью, которую можно взять, не спрашивая.

Страх переполнил её. Он был не таким, как раньше, не тем детским страхом — от темноты, от страшной сказки, от грозы. Этот страх был новый, взрослый, звериный. Он сковал горло, не давая крикнуть. Он парализовал тело, не давая пошевелиться. Вера хотела сказать «нет», «стой», «не надо», но слова застряли где-то глубоко, в самой глотке, и не шли наружу.

В полусне Вера слышала голоса. Далёкие, приглушённые, как будто из-за стены. Кто-то сказал:

— Она в отрубе?

— Не совсем. Но почти.

— Уверен, что не проснётся?

— Не проснётся. Спокойно.

Смех. Тихий, короткий. Потом — шаги. Удаляются. Дверь.

Вера не поняла этих слов. Не запомнила. Они прошли сквозь неё, как свет сквозь стекло — не задев, не задержавшись. Сознание было тёмным, вязким, как болото, и мысли тонули в нём, не успевая оформиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.